

УДК 821.112.2

Л. А. Мальцев, И. Мьяновская

**ЭСХАТОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА
В ПЕТЕРБУРГСКОМ ЦИКЛЕ МИЦКЕВИЧА
И ПОЭМЕ ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»**

64

В центре сравнительного исследования петербургского цикла стихотворений Мицкевича («Отрывок» III части поэмы «Дзяды», 1832) и петербургской поэмы Пушкина «Медный всадник» (1833) – эсхатологическая образность двух текстов и «эксцентрический» (по Ю.М. Лотману) тип петербургского пространства. Делается вывод о том, что эсхатология Петербурга у Мицкевича связана с библейским мифом о Вавилоне, его взгляд на петербургское наводнение характеризуется условно-риторической отстраненностью. Авторская позиция в поэме Пушкина определяется присутствием наблюдателя в пространстве Петербурга и сопереживанием Евгению как жертве наводнения. Пушкин совмещает государственно-апологетический взгляд на «Петра творенье» и экзистенциально-трагическое переживание заброшенности «маленького человека» в петербургском пространстве.

*Our comparative study focuses on Mickiewicz's Saint Petersburg poems (Part III of *Dzyady*, 1832) and Pushkin's *The Bronze Horseman* (1833). We explore the eschatological figurativeness of the two texts and the eccentricity, as Yuri Lotman put it, of the Saint Petersburg space. We conclude that Mickiewicz's eschatology of Saint Petersburg is linked to the biblical myth of Babylon. Nominal rhetorical detachment permeates his perception of the Saint Petersburg flood. Pushkin's position consists of two elements: the presence of a bystander in the text and compassion for Evgenii who falls victim to the flood. Pushkin combines an apologetic statist perception of 'Peter's own creation' with tragic existential realisation of the neglected state, in which the 'little man' lives in the Saint Petersburg space.*

Ключевые слова: эсхатология, профетизм, «петербургский текст», пространство, Мицкевич, Пушкин.

Keywords: eschatology, prophetism, 'Saint Petersburg text', Mickiewicz, Pushkin.

По утверждению Ю.М. Лотмана, «эксцентрический» Петербург в силу своего крайнего положения обладает способностью порождения эсхатологических мифов [5, с. 209]. Лотмановская идея эсхатологической эксцентрики города на Неве перекликается с восприятием Петербурга у В.Н. Топорова, поскольку «эсхатологическое» соотносимо с «профетическим» (о симбиозе библейских жанров апокалипсиса и пророчества пишет С.Н. Булгаков в книге «Апокалипсис Иоанна» [1, с. 13]). По мнению В.Н. Топорова, Петербург обнаруживает «некто-



рую предрасположенность к сфере профетического», Петербург — «горячий город: сам пророческий жар прорвался в Петербурге и в литературу — в отличие от Москвы, которая в эти века, несомненно, не была “горячей” и уступала Петербургу» [10, с. 51]. В этой образной репрезентации Петербурга читается аллюзия к Откровению Иоанна Богослова: «...о, если бы ты был холоден, или горяч» (Откр. 3: 15).

Идея Ю.М. Лотмана — В.Н. Топорова о Петербурге как «эсхатологическом» и «профетическом» городе находит соответствие в монографии о Мицкевиче польского исследователя В. Вайнтрауба, в которой утверждается, что во времена Александра Первого Петербург был «мощным магнитом мистиков и пророков всех видов» [15, s. 99]¹. Мицкевич прибыл в российскую столицу в конце правления Александра Первого, в ноябре 1824 г., через несколько дней после катастрофического наводнения. Петербургским поляком, оказавшим влияние на Мицкевича, был Юзеф Олешкевич, его земляк, художник, член масонской ложи. В стихотворении «Олешкевич» Мицкевич пишет о нем как о чудаковатом, расставшемся с кистью художнике, который «Библию и Каббалу исследует и, даже говорят, общается с духами» [13, s. 302].

Приводимое В. Вайнтраубом воспоминание Ф. Малевского о пророческом даре Олешкевича мы можем считать вкладом в петербургский «низовой» фольклор, «наводненческий» текст, по В.Н. Топорову [10, с. 42], на котором зиждется высокая поэтическая традиция «петербургского текста»: «Пан Юзеф имел странные предчувствия, согласно английской поговорке, он видел тень, которую бросают перед собой события будущего... За несколько дней перед катастрофой он предсказал большое наводнение, произошедшее в Петербурге 7 ноября 1824 г.: “Нева — прекрасная река, но слишком ей доверять не стоит. Если она скоро не замерзнет, с ней может быть большая беда”» [15, s. 108]. Олешкевич как герой стихотворения Мицкевича является, по В. Вайнтраубу, «петербургским Иеремией» [15, s. 206], а Петербург — «новым Вавилоном», для которого, как и для древнего Вавилона, опасность исходит со стороны моря: «Устремилось на Вавилон море; он покрыт множеством волн его» (Иер. 51: 42).

Образ Вавилона-Петербурга появляется в стихотворении Мицкевича «Пригороды столицы» в виде фантастического «чуда света», миражного города, образованного дымом тысячи печей Петербурга. В воображении поэта он уподобляется знаменитым висячим садам Семирамиды в Вавилоне, а также миражам, предстающим взорам странников в пустыне и в море. Другой библеизм Мицкевича взят из книги Иова, в которой говорится, что Бог «затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева» (Иов. 38: 8). В стихотворении «Олешкевич» происходит противоположное событие-катастрофа: вихри «сняли ее [волны] оковы» [13, s. 304]. Образ «снятых» оков соотносится с метеорологической зарисовкой несвоевременного осеннего ледохода Невы. По этому поводу Пушкин в примечаниях к поэме «Медный всадник» упрекает Мицкевича в неточности: «Мицкевич прекрасными

¹ Перевод с польского здесь и далее наш.



стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта» [9, т. 2, с. 184]. Петербург у Мицкевича трудно соотносим с реальным Петербургом, это «самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре» [4, с. 101], если применить здесь цитату из «Записок из подполья» Достоевского. Действие петербургского цикла Мицкевича происходит зимой, в чем есть своя символическая логика, однако она не совпадает с календарными реалиями осеннего Петербурга, который увидел Мицкевич в ноябре 1824 г.

О метафоре зимы как ключе к стихотворению Мицкевича «Дорога в Россию» пишет М. Зелинская, справедливо подмечая, что поэтический образ России и Петербурга мало соответствует реальной поездке не только с метеорологической, но и с географической точки зрения, так как в Петербург Мицкевич ехал не через коренную Россию, а через Курляндию. Образ заснеженных полей, пишет исследовательница, вызывает исторические ассоциации с наполеоновским походом на Россию: «Под покровом белого моря мы можем воображать гробы французской армии» [16, s. 78]. В связи с этим «Дорога в Россию» интертекстуально отсылает к пушкинским политическим стихотворениям «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», см., напр.: «Забыли русский штык и снег, / Погребший славу их в пустыне» [9, т. 1, с. 501].

Стихотворение Мицкевича «Памятник Петру Великому», в наибольшей степени соотносимое с поэмой «Медный всадник», в свою очередь, вносит, по мнению М. Зелинской, хронологическо-календарный диссонанс в петербургский цикл польского поэта: «Почему исчезла зима и идет дождь?» [16, s. 98]. С хронологией связана и другая загадка стихотворения, касающаяся инкогнито русского поэта, который стоит с польским поэтом под одним плащом возле памятника Петру Великому. Исследовательница считает более вероятной в этой роли фигуру поэта-декабриста Рылеева, с которым Мицкевич встречался как раз в конце 1824 г., но учитывает и компромиссную версию: возможно, это был «собираемый образ, который нельзя не отождествить ни с одной конкретной персоной» [16, s. 100]. Присутствие Пушкина в стихотворении «Памятник Петру Великому» и в целом в петербургском цикле Мицкевича определено тем, что именно Пушкин — как «неизбежный другой» [2] для польской культуры — дал поэтический ответ на вызов Мицкевича.

«Медный всадник» написан годом позже петербургского цикла Мицкевича, ставшего катализатором замысла «петербургской повести» Пушкина. Чеслав Милош следующим образом оценил результат этого заочного поэтического диалога: «“Отрывок” можно назвать обобщением польского восприятия России в XIX веке, и Джозеф Конрад, конечно, читавший поэму, словно строка в строку повторил ее содержание в некоторых произведениях, например “На взгляд Запада”. “Отрывок” Мицкевича подвигнет Пушкина написать ответ, результатом чего



будет шедевр “Медный всадник” ... в котором Пушкин пытался передать свою любовь к городу и сложность своих чувств — восторга и страха — по отношению к Петру как образцовому правителю» [14, с. 262].

При анализе поэмы «Медный всадник» исследователи (см., напр., [5–7]) уделяли внимание ее связям с библейской эсхатологией, что определено такими ключевыми лексемами, как «конь», «всадник», «бледный (день)», «лев», «зверь», отсылающими к образам Откровения Иоанна Богослова. Однако недостаточно внимания уделено проблеме сравнения эсхатологических образов в поэме Пушкина и цикле Мицкевича. Например, И. В. Немировский, верно замечая, что «Пушкин сознательно убирает все, что может навести на сопоставление Петербурга с Вавилоном» [7], проходит мимо очевидного расхождения с Мицкевичем, в петербургском цикле которого аналогия *Петербург — Вавилон*, наоборот, является «стержнем» эсхатологической образности.

Основным компаративным принципом восприятия петербургского пространства является высокая степень топографической абстрактности городских эсхатологических образов у Мицкевича при топографическо-метеорологической конкретизации соответствующих образов в поэме Пушкина. Это различие свидетельствует о принадлежности Пушкина и Мицкевича к двум противоположным творческо-психологическим типам поэтов. В стихотворении 1834 г. Пушкин неоднозначно охарактеризовал Мицкевича: «Он вдохновен был свыше / И свысока взирал на жизнь» [9, т. 1, с. 528]. Если лексема «вдохновенный» свидетельствует о наивысшей оценке, данной Мицкевичу русским поэтом, то характеристика «свысока взирал на жизнь» не лишена иронического оттенка, возможно, соотносимого с «польскостью», охарактеризованной в стихотворении «Клеветникам России» с помощью формулы «кичливый лях» [Там же, с. 500], которая отражает негативный стереотип поляка в русской культуре [11, с. 10]. Ирония просматривается также в цитированном выше примечании Пушкина: «Мицкевич *прекрасными стихами* описал день...», — при сопоставлении строк примечания со словами основного текста: «Граф Хвостов, / Поэт, любимый небесами, / Уж пел *бессмертными стихами* / Несчастье невских берегов» [9, т. 2, с. 181]². Сравнение Мицкевича и Хвостова, поэтов, конечно, несопоставимых по поэтическому дару, является, возможно, язвительным упреком, адресованным польскому собрату по перу.

Пушкинская характеристика Мицкевича «свысока взирал на жизнь» соотносится не только с биографическим образом польского поэта, но и с поэтическим образом России и Петербурга, представленным в анализируемом цикле Мицкевича. Она соответствует поэтическому субъекту этих стихотворений, не только «свысока взирающему на жизнь», но и достаточно рассеянному, не вникающему в детали, в которых, как известно, часто и заключается суть. Известно, что в такой невнимательности к деталям Пушкин нередко упрекал не только Мицкевича, но также и его героев, например в повести «Дубровский»: «Ма-

² Курсив здесь и далее наш.



рия Кирилловна... не путалась шелками, подобно любовнице *Конрада*, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком» [9, т. 3, с. 176].

В стихотворении «Олешкевич», содержащем пророчество о грядущем петербургском наводнении, наблюдатель Мицкевича видит общий план бедствия, воспринимает его сверху, «свысока», но не здесь и сейчас. И напротив, точка зрения наблюдателя в поэме «Медный всадник» максимально сближена с точкой зрения участника событий Евгения, поэтому наблюдатель реалистически достоверно подмечает ракурс (сидя «на звере мраморном верхом» в точке Сенатской площади, максимально удаленной от Невы, Евгений видит всадника, который был «обращен к нему спиною») и улавливает направление взгляда Евгения — на один из островов, где находилась разрушаемая морем хижина Параши. Понятно, что это можно заметить только при ближайшей перспективе, отсутствующей у Мицкевича.

В связи с анализируемым отрывком «Медного всадника» обращает на себя внимание связанный с Мицкевичем пушкинский межтекстовый параллелизм, ср.: «На звере мраморном *верхом*, / *Без шляпы, руки сжав крестом*, / Сидел недвижимый, страшно бледный / Евгений» [8, т. 2, с. 178] и пушкинский перевод из вступления к поэме Мицкевича «Конрад Валленрод»: «С другой, *покрытый шишаком*, / В броне закованный, *верхом*, / На страже немец, за врагами, / Недвижно следуя глазами, / Пищаль с молитвой заряжал» [9, т. 1, с. 417]. Через соположение текстов открывается фантастический план интерпретации «наводненческого текста»: в этом измерении Евгений — не жертва, а воин Петра и «крестonosец» («руки сжав крестом»), подобный рыцарю-тевтону из поэмы Мицкевича. Главное отличие двух приведенных отрывков — в отсутствии головного убора Евгения, что подчеркивает отсутствие его статуса, потерю им места в существующей социальной иерархии.

«Петербургские тексты» Пушкина и Мицкевича различаются не только по степени конкретности — абстрактности изображаемого, но и в сущности идеологических позиций двух поэтов. Поэма «Медный всадник» основывается на единстве апологического и трагического видения истории Петербурга, тогда как в позиции Мицкевича доминирует осуждение Петербурга, проявляющееся в едкой иронии и сарказме. Разница идеологических оценок отражается в разнонаправленной фокусировке внимания Пушкина и Мицкевича. Пушкин апологетически кратко пишет о военных парадах на Марсовом поле: «Люблю воинственную живость / Потешных Марсовых полей...» [9, т. 2, с. 174]. Мицкевич посвящает демонстрации военной мощи Российской империи большое сатирическое стихотворение «Смотр войск». Но заканчивается оно «кодой», демонстрирующей амбивалентное решение Мицкевичем русской темы: «Ах, жаль мне тебя, бедный славянин! — / Бедный народ! Жаль мне твоей доли, / Один знаешь только героизм — неволи» [13, с. 299]. Двукратно звучащая здесь польская лексема *жаль* (*żal*) сочетает в себе противоположные и даже несовместимые чувства — способ-



ность к состраданию и едкую иронию, доходящую до сарказма. Образ «бедного славянина» воспринимается Мицкевичем не без сочувствия, но пространство Петербурга всегда остается для поэта чужим, оно вызывает исключительно враждебные эмоции. Кроме того, Петербург у Мицкевича предстает денационализированным пространством, аналогом вавилонской башни, не позволяющим судить, по мнению поэта, о характере титульной нации.

Фокусировка внимания резко меняется в посвященном петербургскому наводнению стихотворении «Олешкевич», в котором гуманитарный аспект занимает меньшее место, чем в стихотворении «Смотр войск». Здесь Мицкевич лишь вскользь пишет о «ничтожных подданных» («nikczemni poddani») — простых «маленьких» людях, которые будут принесены в жертву провиденциальному плану истории: «Эти в низких домиках ничтожные подданные / Сначала за него [монарха] будут наказаны; / Потому что молния, когда в мертвую бьет природу, / Начинает с вершины, с горы и башни, / Но среди людей сначала бьет вниз / И по наименее виноватым раньше ударит...» [13, s. 304].

Противоположная оценке Мицкевича идейно-эмоциональная оценка событий наводнения в поэме Пушкина связана с местонахождением в пространстве: это взгляд не «свысока», а изнутри события. Основную инстанцию поэмы Пушкин видит в «маленьком», «никчемном» человеке, совмещающем в себе смирение, бунт и провидческое начало, проявляющееся в момент, когда в нем «прояснились страшно мысли» [9, т. 2, с. 182]. «Маленький человек» противопоставлен здесь сверхчеловеческому началу Медного всадника, называемого не иначе как «властелин судьбы» [Там же], что в пушкинской системе координат является более высокой ступенью сверхчеловека, чем «властители дум» [9, т. 1, с. 317] Байрон и Наполеон из стихотворения «Море». Знаменательно, что сходный порыв к сверхчеловечности не был чужд поэзии Мицкевича — это проявилось в написанной в тот же период, что и петербургский цикл, «Большой импровизации» из третьей части поэмы «Дзяды», где Конрад обращается к Богу с гордым предложением заключить союз-завет, предоставить поэту Божественную «власть над душами», имея в виду то, что эта власть больше власти «пророков, властителей душ»: «Я хочу иметь власть, какой Ты обладаешь, / Я хочу душами владеть, как Ты ими владеешь» [13, s. 162].

Таким образом, объектом идолопоклонства и отождествления с Божеством может быть не только государственная власть, но и поэтический гений. Эта тема разворачивается в последующей судьбе Мицкевича, связанной с его участием в религиозно-мистическом «Круге Божьего Дела» Анджея Товяньского. В этой связи симптоматично замечание Герцена в «Былом и думах» по поводу того преклонения, каким был окружен Мицкевич среди своих соотечественников: «Они подходили к нему, как монахи к игумну, уничтожаясь, благоговей, иные целовали в плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви, потому что принимал их с большим *laisser-aller* (непринужденностью (фр.))» [3, с. 264].



Для Пушкина главное – не тема абсолютной власти сверхчеловека (монарха или поэта), а сознание «никчемного» и «наименее виноватого» (используя формулы Мицкевича) человека. Точка зрения Евгения, сознающего свое ничтожество перед могуществом стихии, с одной стороны, и власти – с другой, близка точке зрения библейского Иова. С пушкинской идейной установкой связана уникальная «пространственная композиция» поэмы, о которой верно пишет В. Ф. Шубин: «Отлитый в бронзе Петр всем своим гордым и невозмутимым видом, повелительным жестом, словно усмиряющим стихию, вселял уверенность и надежду в душу Евгения; так, на наш взгляд, казалось, а точнее говоря, хотелось герою. И только потом, после трагедии, Евгений понял, что Петр был безучастен к его переживаниям и опасениям» [12, с. 143]. Этот амбивалентный смысл определен семантикой петербургского пространства в поэме Пушкина: Евгений изначально чувствует себя достаточно уверенно и надежно «за спиной» Петра, но, поскольку Медный всадник повернут к нему «спиной», Евгений вдруг осознает себя оставленным на произвол судьбы. В чувстве оставленности, брошенности в отчужденном мире – источник петербургского отечественного экзистенциализма, связанного с таким знаковым текстом, как «Записки из подполья» Достоевского. Оба смысловых плана – государственно-апологетический и экзистенциально-трагический – существуют на равных правах в поэме «Медный всадник» Пушкина, образуя его диалогическое поле.

Список литературы

1. Булгаков С. Н. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). Париж, 1948.
2. Венцлова Т. Пушкин как неизбежный «другой» // Иностранная литература. 2009. №4. С. 267–271.
3. Герцен А. И. Соч. : в 4 т. М., 1988. Т. 2.
4. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1973. Т. 5.
5. Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 208–220.
6. Немировский И. В. Библейская тема в «Медном всаднике» // Русская литература. 1990. №3. С. 3–17. URL: <http://www.philology.ru/literature2/nemirovsky-90.htm>. (дата обращения: 19.06.2019).
7. Немировский И. В. Зачем был написан «Медный всадник» // НЛО. 2014. №2 (126). URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2014/126/20n.html> (дата обращения: 19.06.2019).
8. Перзеке А. Б. Эсхатология поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» // Культура народов Причерноморья. 2006. №92. С. 11–14. URL: <http://dspace.pbc.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36722/03-Perzeke.pdf?sequence=1> (дата обращения: 19.06.2019).
9. Пушкин А. С. Соч. : в 3 т. М., 1985–1987.
10. Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы : избр. тр. СПб., 2003.
11. Хорев В. А. Польша и поляки глазами русских литераторов. М., 2005.
12. Шубин В. Ф. К топографии поэмы «Медный всадник» // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1988. Вып. 22. С. 142–149.



13. *Mickiewicz A. Dzieła. Dramaty* : w 17 t. Warszawa, 1999. T. 3.
14. *Miłosz Cz. Historia literatury polskiej do roku 1939*. Kraków, 1993.
15. *Weintraub W. Poeta i Prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza*. Warszawa, 1988.
16. *Zielińska M. Polacy. Rosjanie. Romantyzm*. Warszawa, 1998.

Об авторах

Леонид Алексеевич Мальцев — д-р филол. наук, проф., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: lamaltsev23@mail.ru

Иоанна Мяновская — д-р филол. наук, проф., Университет им. Казимира Великого, Быдгощ, Польша.

E-mail: miano@wp.pl

71

The authors

Prof. Leonid A. Maltsev, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: lamaltsev23@mail.ru

Prof. Joanna Mianowska, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland.

E-mail: miano@wp.pl